

Почему сын Мартина Бормана стал священником...



Мартин Адольф Борман в молодости

Летом 2004 года в Цюрихе мне довелось пройти по чудесной улице Bahnhofstrasse. Эту прогулку до вокзала и обратно я не забуду никогда. Дело не в красоте этой, с милыми трамвайчиками, улицы богатого западноевропейского города. А в том, кто со мною шел. Я оказался идущим между двумя пожилыми немцами, друзьями с конца 1930-х.

Слева от меня шел друг нашей семьи, Эрик Пешлер, родившийся в 1922-м, бывший руководитель студии документального кино Цюрихского ТВ. Его отец, Альберт, был генералом Вермахта. И не просто генералом, а одним из близких к Гитлеру людей. В 1939-м Эрик, прошедший к тому времени не только драму любви к еврейской девушке (вынужденной вместе с семьей уехать из Германии), а слушавший британское радио и ненавидевший нацистов, поссорился с отцом, ушел из дома и уехал из Германии. Он жил в Лондоне, в

Париже, в Риме, в Москве, в Цюрихе. С начала и до середины 1960-х (во времена нашей Оттепели) он, уже известный журналист, недолго жил в Советском Союзе и написал книгу «Частная жизнь в СССР», в которой был и рассказ о моем папе, в то время главным дирижере Государственного оркестра Белоруссии, с которым они подружились на концерте в Москве. У нас книгу Эрика заклеили как антисоветскую, на Западе, наоборот — как прокоммунистическую. Бедный Эрик метался между двух огней.

Справа от меня...

Справа от меня шел человек, чье имя известно по сериалу «Семнадцать мгновений весны». Человек, близко знавший Гитлера, не раз обедавший с ним, лично знавший всю верхушку Третьего рейха. Его имя и фамилия стали нарицательными и были синонимом власти, которая была выше СС. Во все это было невозможно поверить. Но это было именно так. Этого человека звали... Мне даже неловко произносить его имя. Настолько оно одиозное.

Его звали Мартин Борман.

Догадываюсь, что вы подумали. Нет, я в своем уме. Конечно, это был не бывший Рейхсляйтер Германии, начальник Партийной канцелярии НСДАП, второй человек в Рейхе — это был его старший сын, которого звали так же. Вот некоторые записи нашего разговора (сделанные от руки вечером в номере отеля) на английском, иногда переходившим на французский, с немецкими вставками.



Гитлер, Ева Браун и Герда Борман с девятью детьми четы Борман

Самым сильным чувством, охватившим меня тогда и, по сути, не покидающим до сих пор, было и есть чувство близости ТОГО времени, близости ТОЙ войны и ТЕХ людей. Возникло чувство, что все это было вчера. В ходе беседы с Борманом это чувство только усиливалось. Но возникло оно внезапно, когда, встретившись с ним и уже зная, кто он, я пожал ему руку — все мгновенно стало недавним.

— Вам приходилось здороваться с Гитлером за руку? — решился аккуратно спросить я.

— Конечно, много раз, — он настороженно посмотрел на меня. И добродушно улыбнулся.

Тем не менее то, что всего одна ладонь (!) отделяла меня от невообразимого рукопожатия, — произвело на меня физически сильное впечатление.

— Гитлер был моим крестным отцом. Можете представить себе мое отношение к этому, учитывая, что позже я долгое время был священником?

Мартин Борман-младший был врачом, много лет работал в Африке, был католическим священником, миссионером. Он лечил людей и читал им проповеди, старался морально помочь.

— Много раз мне советовали сменить фамилию. Aber... Но я не считал это правильным. Это моя судьба, мой крест. И я должен его нести. Мой папа был хорошим отцом, заботливым и понимающим. Я люблю его как отца. При этом он, как и все нацистские вожди, был не просто преступником, он был монстром. И если бы он оказался на скамье подсудимых в Нюрнберге, то больше бы заслуживал казни, чем Риббентроп.

— Мартин, — задумавшись над сказанным им, произнес я, — как в своем отношении к отцу вам удастся разъединить его на «отца» и на «другого»? Как вы сочетаете любовь к нему с таким ясным осуждением его как нацистского преступника и, как вы говорите, монстра?

— Знаете, во-первых, монстры ведь тоже заботятся о своих детях! — он невесело усмехнулся. — А во-вторых, вы просто слишком молоды. Для меня это давно решенный вопрос. Преступления отца, то, что он был одним из тех, кто своей подписью отправлял тысячи людей на смерть, вызывает у меня совершенно однозначное отношение. А то, что он был любящий отец, касается только меня и моих братьев и сестер. Что имеет большее значение: мои чувства или гибель миллионов людей? Здесь все ясно. На редких семейных встречах мы никогда не пьем за его... как это сказать по-английски?.. царствие небесное. Мы пьем только за нашу память о нем как об отце и за спасение его души. В которое я не верю.



Генрих Гиммлер с дочерью Гудрун

Какое-то время мы шли молча. Мимо и навстречу шли прохожие. Мне подумалось: как странно — они представить себе не могут, кто этот седой человек и о чем мы говорим.

— Знаете, — сказал Борман, — всю свою жизнь я пытался искупить немыслимый грех моего отца перед миром. Не думаю, что у меня это получилось. Я не думаю, что это вообще возможно. Настолько... — он вытер повлажневшие глаза. — Но я пытался.

— Вы были не обязаны, — мне хотелось сказать ему что-то доброе. — Сын за отца не отвечает.

— О, нет! — он резко поднял голову. — Еще как отвечает! Морально. И сын за отца, и отец за сына. То, что вы сказали, выдуманно для облегчения чувства вины. Мы отвечаем за любого близкого нам человека. Я всегда говорю это в своих проповедях. И все это чувствуют. Но не все дают себе труд осознать это и сказать вслух.

— Ja-ja, Martin, — вдруг произнес Эрик по-немецки. — dich ist absolut recht, — и,

посмотрев на меня, потряс рукой в его сторону. — Он абсолютно прав. — Мы, дети руководителей Третьего рейха, несем свой крест, — продолжал Мартин.

— Дочка моих друзей, Катрин Гиммлер, внучка Эрнста, брата Генриха, — историк, политолог, сделала очень много для разоблачения бежавших нацистов. Она много ездила по миру. При этом она тоже оставила свою фамилию. Ее исследования о братьях Гиммлерах дают правдивую картину их семьи. Это семья душевных уродов.

Знаете, гражданство какой страны она взяла? Вы не догадаетесь.

— Ja-ja! — внезапно, выразительно подняв брови, без улыбки сказал Эрик.

— Она гражданка Израиля. Ее муж — генерал израильской армии.

На секунду, продолжая неспешно идти, я будто оцепенел.

— Ну, знаете! — я хохотнул и чуть не рассмеялся. — Могу себе представить выражение лиц пограничников, когда она въезжает в Израиль и они видят ее фамилию!

— Это точно! — Мартин не улыбался. — Эту фамилию там знают все. Но она специально ее оставила, чтобы никогда не забывать о прошлом своей семьи.

Я перестал усмехаться и понял, что мой юмор, как ни смешно, не уместен.

— Гудрун, дочка Генриха Гиммлера, которая считает его великим и ни в чем не виновным, ненавидит Катрин, ненавидит Мартина, ненавидит меня, она всех нас ненавидит. Ее душа — загадка. — Эрик замолчал и шел, глядя впереди себя на тротуар, — Ja-ja...

Нас обогнал стрекочущий велосипедист. Навстречу прошла молодая женщина с маленькой девочкой за руку и с коляской, в которой сидел смешной малыш с удивленным выражением лица. Мы улыбнулись им.

— Мартин, — осмелился спросить я, — простите за вопрос, но... что вам запомнилось больше всего?

— Знаете, я мог бы рассказывать, каким Гитлер был вегетарианцем, как у него проходили обеды, как я, будучи подростком, любил его и называл дядей Адольфом — я ведь был назван двумя именами, в том числе и Адольфом в его

честь, но это имя я не использую — как он учил меня рисовать и как мне это нравилось, но как не нравился его крупный нос, когда он наклонялся рядом со мной и объяснял, как класть мазки акварелью, но какой при этом был мягкий и завораживающий его голос. И в каком я был ужасе, когда узнал правду о нем, о моем отце, обо всем... Я мог бы многое рассказать. Но все это не имеет значения.

— Вы не правы, — попытался возразить я, — все это имеет значение.

— Нет, — спокойно ответил он, — не имеет. Имеет значение случай, произошедший после войны. Я уже принял сан священника. Но бывают моральные ситуации, на которые даже у священника нет ответа. Ко мне приходили люди, я слушал их исповеди и старался им помочь, воодушевить их. Как-то ко мне пришел бывший солдат Вермахта. Он рассказал, что во время восстания в Варшаве он был среди тех, кто зачищал от повстанцев подвалы домов. Из одного подвала внезапно выскочила и побежала маленькая девочка, лет пяти или шести. Но она споткнулась и упала недалеко от него. Он захотел ее поднять и спасти. Но внезапно услышал окрик обер-лейтенанта: «Клаус! Ткни эту тварь штыком!» И он, подчиняясь приказу, проткнул ее штыком в грудь. Она не закричала, а задохнулась. Это были секунды. Задыхаясь, она смотрела на него. Он понял, что совершил что-то невообразимое. С чем он не сможет жить. Выхватил штык из ее тела и побежал за обер-лейтенантом, чтобы убить его. Он нашел его через пару минут, лежащим раненым от автоматной очереди из окон. И, вместо должного по инструкции спасения офицера, несколько раз ударил его штыком. Он исповедовался через 20 лет после войны. С тех пор бывший солдат, ставший почтовым служащим, так и не женился, и у него не было детей. По его словам, он не мог смотреть в их глаза. И все годы каждый день жил с этим воспоминанием. Он сказал: «Бог не простит меня, я не могу себе представить, что со мной будет за то, что я сделал». Даже как священник я не знал, что ему сказать. Через неделю этот человек повесился. Я боюсь это говорить, но, наверное, он поступил верно. Вероятно, я неправильный священник.

Несколько секунд мы шли молча.

— Нет, — осмелился сказать я, — мне кажется, вы правильный священник.

Борман взглянул на меня почти безнадежным взглядом, при этом

исполненным некой надежды.

— Вы понимаете, — продолжил он, — это не только реальная история, но и метафорическая. Таково большинство людей. Потом они все поймут. Они и сейчас понимают, но в момент, когда от них зависит жизнь и судьба других людей, — они слушаются приказа. Они подчиняются идее. Надо быть цельным человеком и постоянно думать о том, что ты делаешь, и главное, не бояться быть собой, не бояться противостоять приказам, чтобы в критический момент не совершить нечто чудовищное.

— Так, что же, — решился я спросить его, — вы считаете, он прощен?



Гудрун Бурвитц (Гиммлер)



Катрин Гиммлер

— Да. — Борман с удивлением посмотрел на меня. — Он прощен. Он не убивал с умыслом. Он сделал это по инерции выполнения приказа. Поэтому он так страдал. Ни Гиммлер, ни Геббельс, ни мой отец не страдали бы от такой мелочи, как убитая девочка. Неприятная картина — он сделал упругий жест ладонью по воздуху, — но не причинявшая ни физического, ни идейного дискомфорта. Она же была еврейка. Хотя я уверен, что в душе все они понимали, что это противоречит природе, что это преступно и что им придется заплатить за это. Я убежден, что они осознавали это. Этот солдат

был нацистом чисто формально. И наказал сам себя. Поэтому он прощен.

— Nein-nein, Martin! — Эрик вдруг снова заговорил по-немецки и мелкими движениями отрицательно качал головой.

— Я не согласен. Простить значит снять событие. Он не может быть прощен. Здесь я согласен с евреями. С верующими иудеями. Наше христианское «прощение», благодаря которому христианство завоевало полмира, всех развратило! Покайся — и будешь прощен! Это лукавство! Не может быть такого. Уверен, иудаизм ближе к истине. Там так: все, что ты совершил, вне зависимости от твоего раскаяния, навсегда остается с тобой. Бейся хоть лбом об стену и уверяй в искренности своего раскаяния — ничего не изменится. Раскаяние важно. Оно определяет тебя в твоём моральном движении. Но оно не снимает события и не снимает твоей вины. А мы, христиане, удобно устроились! Предал, покался — и снова как новенький!

— Эрик! — выдохнул Борман с возмущением. — Говорить так огромный грех! Раскаяние — это не просто слова, это осознание и страдание! Страдание души, часто и тела! Человеку необходимо возрождение! Правильно, именно этим христианство завоевало почти весь мир, потому что именно эту уникальную возможность нам дал Господь!

Мартин, покрасневший от эмоций, пригладил свои волосы.

— Видишь, Котя, — Эрик вдруг назвал меня детским прозвищем, поднял брови и, кивнув в сторону Мартина, саркастически произнес, — Господь им дал! Люблю я этих детей!

Эрик с иронией посмотрел на Бормана, тот терпеливо воспринимал его взгляд.

— Он католик, — Эрик снова потряс рукой в сторону Мартина, а затем потыкал указательным пальцем себя в грудь. — А я протестант. По сути, практически еврей. Впрочем, я неверующий. Но главное, он младше меня. В юности это было большой разницей. Но и теперь, видишь, он все еще не дорос до понимания чего-то!

Мартин, сжав губы, будто с сожалением смотрел на него. Эрик чуть склонился в мою сторону, протянул руку позади меня и похлопал Мартина по плечу. Тот улыбнулся. Они почти обнялись за моей спиной.

— Я вам только вот что скажу, — Борман посмотрел на меня. — Никогда не верьте, если кто-то из немцев или не немцев говорит, что он чего-то не понимал. Это ложь. Все всё прекрасно понимали.

— Ja-ja, — Эрик снова затряс рукой перед собой, — здесь он прав!

— Ради чувства собственной невиновности, ради чувства своей правоты люди врут сами себе и верят в собственную ложь, — сказал Мартин. — Боюсь, что в своей массе, если не в основе, люди не рациональны и не моральны. Им свойственно создавать себе кумиров, — он глубоко вздохнул и продолжил.

— И в нацизме, и в сталинизме, и в северокорейской идеологии, в любой тоталитарной идее много привлекательного. Люди боятся многообразия и сложности жизни. А подобная идеология создает впечатление, будто все объясняет и отвечает на все вопросы. И люди делают вид, что верят в нее. До такой степени, что убеждают в этом сами себя.

Это сумасшествие. Но однозначность привлекает, безумие захватывает, оно заразительно.

Григорий Катаев